

Глава первая

Последний вечер в Лондоне я провел в кино с какой-то девчонкой и там, при ее непосредственном участии, сэкюлировал в твою честь.

Сеанс поздний, народу куча. Пьяные, лениво развалившись, весь фильм глумились, ржали и улюлюкали, а нежно державшиеся за руки голубые парочки шипели на них и цыкали. Они-то пришли воздать должное единственной в мире актрисе, которая идеальнейшим образом умела передавать боль; ту боль, которую они чувствовали так же остро, как женщины, даже острее; ту боль, природу которой я тогда не в состоянии был познать... а ведь она составляла суть твоих чар.

Киноплёнка была старая, затасканная; казалось, в текущем по экрану дожде можно разглядеть разрушительный ход времени, расслышать его в тарактенье звуковой дорожки. Впрочем, иллюзорность всего сиюминутного, брэнного лишь подчеркивала твое блестящее присутствие, отчетливо выделяя его сиротливость, зыбкость показной победы над временем. Как и двадцать лет назад, ты была прекрасна, и пока киноплёнка потворствует такому чуду, как инерция зрительного восприятия, прекрасной ты и останешься. Хотя

в конце концов срок выйдет, и победа превратится в поражение, ведь охраняющие твое обличье одежды уже стали ветшать.

Как же, черт возьми, была великолепна Тристесса де Сент-Анж! На афишах (ты помнишь?) ее именовали не иначе как «самая красивая женщина в мире». Она превратила свою символическую автобиографию в китч, вычурную гиперболу и, сама превосходный образчик вульгарности, постоянно выходила за рамки этой стилистики: никаких компромиссов, все на грани фола.

Если не ошибаюсь, по-моему, это Рильке сильно переживал о несовершенстве нашего символизма: горько печалился, что мы не можем, в отличие от древних греков (разве?), подобрать достойные внешние символы, чтобы выразить внутреннюю жизнь. Точная цитата. И нет, он оказался не прав. Наши внешние символы всегда абсолютно точно выражают внутреннюю жизнь. А как же иначе, если эта жизнь их и выдумала? Поэтому нечего пенять на бедные символы, коли они принимают формы, на наш взгляд, банальные или бредовые, ведь сами по себе они — сколь бы ничтожными ни были — не имеют власти над своей телесной оболочкой; их внешний вид определили особенности нашей жизни.

Критиковать эти символы — значит, критиковать саму жизнь.

Тристесса. Загадка. Мираж. Женщина? О да!

Ты играла одну только ложь! Само твое существование было условностью; ты, Тристесса, оказалась чистой воды мистификацией. И при этом

была так прекрасна, как может быть лишь сотканный из противоречий вымышленный образ.

Когда я с девчонкой, чье имя не отложилось в сознании, отправился посмотреть на Тристессу в фильме «Грозовой перевал», внутри бурлил клубок из воспоминаний и божественного предвидения. Последний вечер моей единственной поездки в Лондон.

Наравне с Билли Холидей и Джуди Гарланд, Тристесса давным-давно вошла в королевский пантеон женщин, которые с гордостью выставляли напоказ свои шрамы, демонстрируя символические страдания, как средневековый святой мученик демонстрирует раны; и каждый актёришка считал долгом пополнить свой творческий арсенал, подражая ее таинственной, безоглядной тоске.

Из фотоснимков Тристессы понаделали плакатов; на один сезон она превратилась в икону стиля, ее именем назвали ночной клуб и сеть фирменных магазинчиков. Тогда я любил Тристессу по причине неискушенности: я был еще мальчишкой, и трепет ее точеных ноздрей будоражил мое почти созревшее воображение.

Вся стена моего школьного шкафчика была оклеена ее фотографиями. Я даже написал в «Метро-Голдвин-Майер» и в ответ на заляпанное чернилами любовное послание, пестревшее орфографическими ошибками, получил снимок из фильма «Падение дома Ашероу», на котором Тристесса, облаченная в саван, что придавало ей хрупкости, восставала из гроба.

А еще, нежданно-негаданно и абсолютно не по моей инициативе, они приложили вторую карточку, на которой Тристесса в брюках и свитере размахивала — подумать только! — клюшкой для гольфа. Высокая худая плоскогрудая женщина в постановочной, якобы непосредственной позе сверкала зубами в вымученной ухмылке; собственно, и те редкие улыбки, что она раздавала не по указке, могли означать что угодно, только не радость. Эта фотография меня потрясла и озадачила, толкнула на путь к трезвому восприятию Тристессы.

Как раз в это время актриса стала выходить из моды; как ни запикивали ее в установленные рамки, она не вписывалась в образ соседской девчонки.

В конце сороковых пагубное распространение получил романтизм; потом он сошел на нет, и жизненным кредо стали здоровье и продуктивность. На звездный небосклон взошли сильные пышногрудые женщины: хлеб, не грезы. Тело, только тело, душу к черту! Подобный снимок рекламный отдел кинокомпании выслал, чтобы показать: Тристесса — всего лишь человек, такая же девушка, как сотни других. Они разуверились в мифах, которыми сами ее и окутали. «Принцесса Греза» должна была научиться, например, ездить на велосипеде. Но Тристесса оказалась не в состоянии изображать моменты обычной жизни, несмотря на то, что от этого зависела ее собственная. Да и любили Тристессу не за такую банальность, как человеческая природа; ее шарм

зaключaлся в тpaгичном и бeстoлковом героиствe, чeрeз кoтoрoе oнa эту oбычнoю жизнь oтpицaлa.

Тристeссa, идeaл кoнцa эпoхи рoмaнтизмa, нeкрoфилия вo плoти, стрoит из сeбя спoртсмeн-кy?! Нa oбeих фoтoгpaфиях стoялo «с лoвoвьeю нaвeки, Тристeссa дe Ст. A.», стрaнным, oстрoм рoсчeркoм, нo я нe стaл вeшaть их нa стeну, вeдь oднa стaвилa в нeудoбнoe пoлoжeниe другoю. Рaзвe мoг я вooбpaзить Мэдлин Aшeр игpaющeй в гoльф? Я мeчтaл o другoй встpeчe: Тристeссa, нaгaя, привязaннaя, впoлнe вoзмoжнo, к дeрeву в пoлуночнoм лeсу пoд зaвисшими в нeбe звeздaми. Нo стoлкнуться с нeй нa зaгoрoднoм пoлe для гoльфa? С Дидoнoй в прaчeчнoй? С Дeздeмoнoй в жeнскoй кoнсультaции? Дa никoгдa!

Oнa былa мeчтoй, сoздaннoй из плoти; нo плoть этa — чтo я пoнял, кoгдa узнaл ee, — былa лишь *изoбpaжeниeм* плoти: сущeствeт, дa нe пoтpoгaeшь.

Я лoбил ee зa иллюзoрнoю сущнoсть, a кoгдa oбнaружил, чтo oнa — стyд и пoзoр! — притвoряeтcя чeлoвeкoм, был глyбoкo рaзoчaрoвaн. И рaспрoшaлся с нeй. Ушeл в рeгби и блyд. Гoрмoны нaкрыли мeня с гoлoвoй. Я пoвзрoслeл.

Тeм нe мeнee тoгдa, нeнaдoлгo пoпaв в эпoхy личнoгo рeнeссaнсa, oнa прoбyдилa жaнр, и в итoгe я с кaкoй-тo дeвчoнкoй, имя кoтoрoй пoзaбыл, пришeл пoсмoтpeть, кaк Тристeссa усмиряeт свoи мyчeния рaди рoли Кэтрин Эрншo. Вoздaвaя дaнь бьлым вpeмeнaм, я кyпил мoрoжeнoe. Мoя гyвeрнaнткa, тoжe ярaя ee пoклoнницa, eщe мaлышoм вoдилa мeня пoлoбoвaться нa Тристeссy, и мы

всегда брали по эскимо, поэтому горький хруст шоколадной глазури и острое сладковатое жжение льда вот рту были неразрывно связаны с пылающим мальчишеским сердцем и волнением набухающего паха, которое неизменно вызывало во мне зрелище страданий актрисы.

Ибо профессия Тристессы заключалась в страдании. Страдать было ее призванием. И страдала она восхитительно, пока это не вышло из моды; потом она вроде бы уехала в Южную Калифорнию, стала затворницей, убрала себя в кладовку на полочку для потрепанных грез. Но к тому времени, как я прочитал об этом в журнале, который кто-то оставил в поезде, у меня остался исключительно ретроспективный, теоретический интерес. Я тогда подумал: надо же, она еще жива; наверное, песок уже сыплется.

Я взял эскимо, а моя спутница — клубничный пломбир. Мы сидели, поедали мороженое под волны причитаний божественной Тристессы, и я предался тоске по прошлому, иронически освежив ее образ в памяти. Решил, что говорю последнее «прощай» той картинке, что символизировала мою молодость.

На следующий день я улетал в новое место, в другую страну, и даже мысли не возникло, что там найду эту женщину, ждущую пробуждения, поцелуя любимого, который выведет из вечного сна. Даже мысли не возникло...

Когда спутница поняла, насколько меня возбуждали тяжкие страдания Тристессы, вызванные воспалением мозга ее героини, она встала в тем-

ноте кинотеатра на колени, прямо на грязный пол, усыпанный окурками, пустыми упаковками из-под чипсов и смятыми пакетиками из-под сока, и отсосала. Мое сбивающееся дыхание заглушили одобрительные возгласы и аплодисменты части аудитории, которая не сдержалась, когда Тайрон Пауэр — с такими напомаженными волосами, что Хитклифф вышел неубедительно, — зарычал от горя над картонным болотом в потоке кинодождя.

А потом я услышал, как эта девчонка, о которой других воспоминаний и не осталось, бормочет мое имя «Эвлин», и, к своему удивлению, к своему безумному позору обнаружил, что она плачет: слезы закапали мне на колени. Наверное, она ревела, понимая, что продолжения не будет... При этих мыслях я почувствовал себя совершенным сухарем! Чтобы не наступила беременность, в шейке матки у нее была штука из пластика, похожая на иероглиф; имплантируя мне собственное чрево, чернокожая женщина о подобных ухищрениях не задумывалась, это не входило в ее планы.

Если память не изменяет, у той девчонки были серые глаза и какой-то в целом нерешительный вид, по-детски невинный. Как раз то, что меня всегда привлекало в женщинах. Моей гувернантке, хоть она и любила пустить слезу, был присущ ярко выраженный садизм; наверное, благодаря ей к женщинам я относился двояко. Иногда перед сексом ради развлечения я, например, привязывал партнершу к кровати. А в остальном был совершенно нормальным.

В самолете рядом со мной сидела школьная учительница из Нью-Джерси. В сумочке у нее лежала открытка, на одной стороне которой была напечатана молитва для взлета, а на другой — для приземления. Всю дорогу она беззвучно шевелила губами. Ее молитвами мы без происшествий поднялись в воздух из Хитроу и благополучно сели в аэропорту Кеннеди.

И тут я, зеленый, еще неоперившийся птенец, бросился — бух! — сломя голову в эпицентр резни.

Глава вторая

Я оказался не готов к большому городу, не хватало опыта. Мои друзья-американцы, коллеги, все пытались запугать меня, рассказывали, что там грабят и убивают, но я им не верил; я помешался на конкретной мечте, и когда я узнал, что получил работу в Нью-Йорке, перед глазами промелькнул ряд старых фильмов — ведь сама Тристесса покорила этот город в «Огнях Бродвея», хотя потом и умерла... в тот раз от лейкемии. Я рисовал в воображении чистый яркий мегаполис, где башни взмывают в небеса как эталон технологического прогресса, где снуют словоохотливые таксисты, где повсюду встречаешь лучезарных чернокожих горничных и кудрявых девочек с острыми хищными зубками и холеными, развратными ногами-ножницами. Открытые жители лаконичного города, где четко очерчены границы, где, в отсутствие затхлых уголков, не прячутся призраки, обитающие в европейских городах.

Однако вместо выверенных линий и ясной цветовой гаммы в Нью-Йорке обнаружился бурый мрак готики, который накрыл меня по самую макушку.

Выйдя из аэропорта, я увидел витрину с жирным гипсовым гномом; взгромоздившись на гип-

совый мухомор, гном грыз огромный гипсовый пирог. Добро пожаловать в страну, где заправляет его величество Живот, в земли съестных припасов! Потом я заметил крыс: черные как бубоны, они что-то глодали в куче мусора. И тут же мимо пронесся чернокожий мужчина; он вопил, зажимая горло, а из-под пальцев неумолимо вытекал шейный платок, красный и липкий, который уже не мог ничего остановить. Раздался выстрел, мужчина рухнул лицом вниз. Крысы отвлеклись от своего застолья и, повизгивая, рванули к нему.

Отель, где я в ту ночь остановился, в пред-рассветные часы вдруг полыхнул — или, пожалуй, правильнее сказать, похоже, что полыхнул. Наблюдались все признаки пожара, из системы кондиционирования клубами валил густой дым. Постояльцев спешно вывели из номеров. В вестибюле толпились пожарные и полицейские; любители ночных прогулок, желая поглазеть на трагедию, заходили в стеклянные двери, а разбуженные гости отеля словно лунатики бродили в пижамах и заламывали руки. Под хрустальной люстрой в бумажный пакет рвало какую-то женщину.

Витало невыносимое ощущение беды, однако никто, по-видимому, не знал, как выразить испуг; жертвы, похоже, отстранились даже от собственного страха. Царило бесстрастное, несколько ошалелое признание трагедии; казалось, в полном людях вестибюле велись самые банальные разговоры ни о чем, а не серьезные обсуждения причины этой нештатной ситуации. Кстати, здание

никто не покинул. Это поджог? А кто в ответе? Черные или женщины? Женщины? Вы о чем? Заметив, что я — приезжий и ничего не понимаю, полицейский ткнул пальцем в вырезанный на стене знак — ♀ — символ женского пола, внутри которого щерился оскал. Женщины в ярости. Остерегайтесь женщин! Приехали...

В конце концов постояльцев все-таки охватил страх, но только после того, как прозвучал сигнал отбоя, и только тогда, когда рассвело — что уж тут бояться; будто ночные кошмары можно признать лишь при свете дня, когда они исчезли. Лифт, который даже в таком дорогом месте был весь исписан граффити, украшающим еще и стены вестибюля, заполнился людьми; они сетовали и жаловались. Наспех накиннув на себя что попало, мужчины и женщины, бледные, дрожащие, хватали чемоданы и выписывались из отеля. Уму непостижимо.

Стоял июль, город переливался и источал зловоние. К полудню я почти валился с ног, рубашка промокла от пота. Количество попрошаек на воюющих узких улочках поражало; жалкие старики и пьянчуги соревновались с крысами за возможность завладеть лакомыми отбросами. Зато крысам жара была по нраву. Я не мог купить в киоске пачку сигарет, не отшвырнув при этом ногой с полдюжины лоснящихся черных монстров, которые, набегая, клацали зубами возле лодыжек. Они выстраивались почетным караулом на ступеньках, приветствуя меня, когда я возвращался в квартиру (без горячей воды в доме без лифта),